

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

В статье рассматривается поэтическая философия Г. Иванова, восходящая к метафизическому идеализму и апробирующая различные его постулаты – от шопенгауэровских до теософских и сближающаяся с веяниями экзистенциализма, нацеливающего на выход за пределы своего «я» в акте трансценденции – в надежде спасения от драматических эмигрантских переживаний, мыслей о смерти, «мирового безобразья». Показано, что доминирует у поэта философский скептицизм и представление о «безгарантийности» обретения «мира иного». Прослеживается эволюция позднего Г. Иванова к оправданию феномена жизни и утверждению символического модуса бессмертия.

Ключевые слова: Россия, эмиграция, жизнь, смерть, рай, ад, вечность, экзистенциальное отчаяние, трансценденция, музыка, стихи, Красота.

Г. Иванов происходил из состоятельной дворянской семьи, провел детство и юность в семейном имении в Студенках под Ковно (ныне Каунас, Литва). Гостиная в доме сплошь была увешана картинами, комнаты украшали драгоценные вазы и изящные безделушки, так что мальчик рос, окруженный предметами искусства как чем-то родным, насущно необходимым, впитывал исходящую от них красоту.

Неудивительно, что сблизившись в 1913 г. с акмеистами, и прежде всего Н. Гумилевым, он делает ставку на «прекрасную ясность» и панэстетизм, близкий к установкам «чистого искусства», театрализует свою жизнь в духе «уайльдовщины». С головой окунается семнадцатилетний Г. Иванов в литературную и светскую жизнь Петербурга Серебряного века, посещает не только «Цех поэтов», но чуть ли не все петербургские литературные собрания, кружки, салоны. Его, совсем еще молодого, переполнял пьянящий восторг общения с другими творцами искусства и его многообразными созданиями. Сам он позднее вспоминал: «Кончалась музыка в Павловске, начинался сезон в Петербурге. Ничего особенного не случилось – из года в год было все то же. Осень, вернисаж, первый снег, балет, новая книга стихов, крещенский мороз – так до первого дыхания ни с чем не сравнимой петербургской весны, до белых ночей, до новой “музыки”...» [4, с. 192].

И только. Но веял над нами Какой-то
божественный свет:
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет
[1, с. 64], –

цитирует Г. Иванов своего друга Г. Адамовича. В общем, жизнь поэта была сосредоточена, в основном, в искусстве, и казалось она ему одним сплошным праздником, в сущности, и была им.

Суровые пореволюционные большевистские порядки Г. Иванова отталкивали; потрясен он был и расстрелом Н. Гумилева, сам пережил обыск и арест. Осенью 1922, совместно женой И. Одоевцевой, Г. Иванов покидает Советскую Россию. «Уезжали мы “легально” и отъезда своего не скрывали, – вспоминает И. Одоевцева. – Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда» [6, с. 133]. Они думали, что просто прокатятся по Европе. Год провели в Берлине, в 1923 переехали в Париж. Особых материальных затруднений не испытывали – помогал отец И. Одоевцевой, владевший доходным домом в Риге. Но, по свидетельству И. Одоевцевой, никто так остро и болезненно не переживал эмиграцию, как И. Бунин и Г. Иванов. Ее муж буквально сходил с ума от утраты родины и всего, чем там жил, метался, не находя себе места и, как бы махнув на себя рукой, бросился в пьянство и наркотики.

На жизнь парижан, как русский аристократ и творческий человек, Г. Иванов взирал скептически: она представлялась ему мелочной и пошлой. Переживая сильнейшую душевную ломку, почти десять лет поэт ничего не пишет, а когда в 1931 г. вышла его книга стихов «Розы», перед читателем предстал совершенно новый, незнакомый Г. Иванов – не дендиэстет, а глубоко несчастный человек и поэт, насытивший свое творчество драматическими и экзистенциальными мотивами. Эмигрантская жизнь наделила Г. Иванова новым опытом, заставила по-настоящему страдать, и это сказалось на творчестве. И «Розы», и последующая книга «Отплытие на остров Цетеру» (1937), и стихи 1943–1958, составившие сборники «Портрет без сходства», «Rayon de gauppe», «Дневник», пронизаны философским пессимизмом, по словам А. Арьева, – «горестным нигилизмом». Этот нигилизм выражается в признании неподлинным и отрицании всего, что видит вокруг, и, более того, – распространении своего неприятия на всю земную жизнь, которая воспринимается Г. Ивановым как «мировая чепуха», «мировое уродство», «мировое безобразье». Из такой позиции вытекает утверждение о трагичности существования человека на Земле, так как он не только вписан в отвергаемый поэтом абсурд, но и обречен в конце концов на смерть. Некоторый выход для себя лично Г. Иванов находит в трансценденции – пересечении в своем сознании границ земного, границ своего «я» и выходе в сферу чисто духовного – «мира иного». Сам Г. Иванов констатировал, что ему присущ «талант двойного зренья»: рассмотрение конкретного, земного в соотнесении с Вечным, общемировым, метафизическим. Но – вопреки суждению А. Арьева – можно сказать, что у Г. Иванова «горестный нигилизм» неотделим от трансцендентального идеализма, и в этом себя выявляют крайности русского национального

характера: тяга к абсолютному, запредельному, сверхземному, расцениваемому как идеал (=Царство Божие), и – предельная степень отрицания воспринимаемого как зло, то есть присущий русскому человеку максимализм – черта, роднящая людей разных взглядов. Такие же крайности и в утверждении, и в отрицании присущи Г. Иванову. Отсюда – двоящиеся определения сущего, воспроизведение пограничных – между жизнью и смертью – состояний, драматическое оплакивание разрушенной жизни, эмигрантской судьбы, смертной человеческой участи, поразительная искренность в исповедальности, преобладание эмоционального над рациональным, вплоть до надрыва, готовности вывернуть душу наизнанку. «Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащееся вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки» [3, с. 8], – не без желания эпатировать восклицает Г. Иванов в повести «Распад атома» (1938), делая свои выводы из наблюдений над собой. Отмечается устремление русских к сверхвозможному, неотделимое, однако, от утопизма. Правда, у самого Г. Иванова полной уверенности в том, что он заслужит «мир иной», нет: во-первых, проступают и сомнения в реальности ожидаемого верующими посмертного бытия вообще, во-вторых, что еще более усиливает драматизм передаваемых переживаний.

Образная система, формальные признаки стиха также несут у поэта отпечаток его пристрастия к крайностям. Характерно для него структурирование высказывания по модели бинарных оппозиций:

Мы не молоды. Но и не стары. Мы не
мертвые. И не живые [2, с. 436] или:

Ни жизнь ни смерть. Ни свет ни тьма
[2, с. 522].

Контрастные характеристики предметов и явлений у Г. Иванова нередко дополняют друг друга:

Миф печальный и прекрасный
[2, с. 270]

или:

С мукою и музыкой земли
[2, с. 428].

Все поэт воспринимает преувеличено эмоционально, нередко стремится проакцентировать высшую степень качества, довести до абсолюта:

Ярче блеснуть не могли
[2, с. 272]

или:

Ну абсолютно ничего!
[2, с. 356].

Г. Иванов любит играть на нервах, жаловаться, терзать мучительными признаниями:

Душа черства. И с каждым днем черствей.
– Я гибну. Дай мне руку. Нет ответа
[2, с. 258].

Ощущение, что гибнет, передают и другие произведения поэта. Вспоминая свою предыдущую жизнь, Г. Иванов признается:

Я жил как будто бы в тумане,
Я жил как будто бы во сне,
В мечтах, в трансцендентальном плане. И
вот пришлось проснуться мне.

Проснуться, чтоб увидеть ужас,
Чудовищность моей судьбы. ...О
русском снеге, русской стуже... Ах,
если б, если б... да кабы...
[2, с. 555].

Как непоправимая драма расценивается утрата родины и всего, что с ней было связано: людей, с которыми был близок: Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, обожаемого Петербурга, той наполненной творческими открытиями жизни, которая пришла на его молодость.

Контраст велик:

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился И
не заметил, как вдруг очутился В
этой глухой европейской дыре
[2, с. 401].

Г. Иванов может себя и поправить: отнюдь не вся Европа – захолустная дыра, есть здесь и замечательные места, но пребывание в них не радует – все затмевает тоска по покинутому Петербургу, характеризующемуся эпитетом «чудный», то есть волшебно-чудесный:

Быть может, города другие и прекрасны...
Но что они для нас! Нам не забыть, увы,
Как были счастливы, как были мы несчастны В
туманном городе на берегу Невы
[2, с. 500].

То, с чем сроднен душою, оказывается самым важным, дорогим, незабываемым, если даже и в Петербурге жизнь состояла не из одних подарков. Подарком, как выяснилось, был сам Петербург, была сама Россия, и возместить их утрату не способно ничто.

И за рубежом Россия продолжает светить поэту как главная в его жизни ценность, ей он адресует свои стихи:

Полночь. Сиянье. Ты в мире одна. Ты
тишина. Ты заря. Ты весна
[2, с. 301].

Утраченная Россия ассоциируется с самым лучшим, самым желанным и благоприятным для жизни, ничто с ней не может сравниться.

Г. Иванов дает понять, что Россия – в его душе, и не расстанется он с ней и за гробом:

Это звон бубенцов издалика,
Это тройки широкий разбег,
Это черная музыка Блока На
сияющий падает снег.

... За пределами жизни и мира, В
пропастях ледяного эфира
Все равно не расстанусь с тобой!

И Россия, как белая лира, Над
засыпанной снегом судьбой
[2, с. 313].

Черная музыка у Г. Иванова – значит трагическая, и эту линию он подхватывает у Блока, но сама Россия у него – белая, то, что рождает и дает прозвучать его собственной музыке (музыке стиха): она от него и его поэзии неотрывна.

На антитезе счастливого российского прошлого и безрадостного настоящего построены стихотворения «В тринадцатом году, еще не понимая...», «Над розовым морем», «Как вы когда-то разборчивы были...» и др. Они передают ощущение, что раньше эмигранты находились вообще на какой-то другой планете, а оказались в загробном мире, где нет настоящей жизни, и ощущают себя заживо похороненными:

Как вы когда-то разборчивы были, О,
дорогие мои.
Водки не пили, ее не любили, Предпочитали
Нюи.

Стал нашим хлебом – цианистый калий, Нашей
водой – сулема.
Что ж? Притерпелись и попривыкали, Не
посходили с ума.

Даже напротив, – в бессмысленно-зломном
Мире – противимся злу:
Ласково кружимся в вальсе загробном На
эмигрантском балу
[2, с. 363].

Произведение пронизывает настроение тоски, безнадежности, черной меланхолии. Ориентация на ритмику вальса лишь оттеняет аномальность происходящего: это вынужденная имитация желанного, тогда как в душах боль, скорбь, отчаяние. Солидаризируясь с Г. Адамовичем (строки которого представлены в эпиграфе), Г. Иванов приравнивает эмигрантскую судьбу к отраве, каковая губит людей, но они обречены потреблять ее изо дня в день, да еще делать вид, что все в порядке.

В эмигрантской жизни поэт не видит никаких перспектив, она тягучеоднообразна, в ней ничего яркого, радующего человека не происходит, не меняется – она просто длится: один день, как двойник, похож на другой. Никто никому здесь, по большому счету, не нужен, отношения людей формальные. В такой застойно-остановившейся, бессобытийной, лишенной внутреннего накала и душевной теплоты жизни лирическому герою Г. Иванова тошно и гадко. Насыщением стихотворений множеством однотипных бытовых деталей Г. Иванов подчеркивает автоматизм идущей

жизни, например, в стихотворении «Зима идет своим порядком...», где, прибегая к передаче сильного лирического взрыва чувств, отражает ее неприемлемость для мыслящего человека:

Встаем-ложимся, щеки бреем,
Гуляем или пьем-едим,
О прошлом-будущем жалеем, А
душу все не продадим.

Вот эту вянущую душку – За
гривенник, копейку, грош.
Дороговато? – За полушку.
Бери бесплатно! – Не берешь?
[2, с. 445].

Душа человека никому не нужна, значит, никакой ценности для окружающих она не представляет. В мире прагматики котируются деньги, а не душевность, сильно отчуждение. Никакой выход из создавшейся ситуации у Г. Иванова не просматривается.

Большое место в произведениях поэта начинают занимать повторы тавтологического характера:

Утро было как утро
[2, с. 445] или:

Вечер как вечер. Зима как зима
[2, с. 303].

Они фиксируют отсутствие перемен, чувство безысходности, владеющее лирическим героем. Надежды, что что-то изменится к лучшему, у Г. Иванова нет.

В мелодии стиха у Г. Иванова нередко проступает рыдание, что выдает истинное состояние лирического героя, даже когда он ни на что не жалуется. Характерны для Г. Иванова ритмико-интонационные структуры романса, имеющего мелодический ореол печали, а также «жесточкого романса» со «слезой», с цыганщиной, что – при всей внешней «разудалости» – производит впечатление душераздирающего плача, тоскливой жалобы; правда, к этому все не сводится – музыкальный диапазон Г. Иванова достаточно широк. «Музыка, мелодия стихов была его стихией» [7, с. 96], – отмечает И. Одоевцева. Более того, Г. Иванов разделял положение А. Шопенгауэра, что музыка «предельно всеобщим языком выражает... внутреннее существо, в себе мира» [8, с. 261], «для всего физического в мире

показывает метафизическое, для всех явлений – вещь в себе» [8, с. 259]. Музыка у него связывает личное со всеобщим, «договаривает» не выраженное словами, задает поэтический настрой.

Спокойно-умиротворенная жизнь чужой страны, в которую забросила судьба, только оттеняет переживаемую драму:

Ничего не вернуть. И зачем возвращать?
Разучились любить, разучились прощать,
Забывать никогда не научимся...

Спит спокойно и сладко чужая страна.
Море ровно шумит. Наступает весна В
этом мире, в котором мы мучимся
[2, с. 338].

Возникает, однако, вопрос: почему бы не внедриться в жизнь новой страны проживания, не слиться с ее людьми, жить новыми интересами? Однако для Г. Иванова неприемлем европейский образ жизни – мещанскоблагополучной, но не одухотворенной, мелочной по запросам, пошлой, скучной. Такая жизнь убивает человека (высшее в человеке) незаметно, бескровно, превращая его в живого мертвеца, и вокруг поэт различает «живые трупы» и «мертвые души». В стихотворении «Все на свете не беда...» читаем:

Можно и не умирая,
Оставаясь подлецом, Нежным
мужем и отцом,
Притворяясь и играя, Быть
отличным мертвецом
[2, с. 389].

В своей характеристике автор выявляет внутреннюю сущность человека, высшие ценности в душе какового отсутствуют, и ничуть не удрученного этим: это духовный мертвец.

Хотя ничего ужасного на улицах Парижа не происходит, Г. Иванов вызывает ощущение ужаса от повседневно-обыденной, но механическибессмысленной жизни, которую ведут люди, не задумывающиеся, зачем они живут, что собой представляют, удовлетворенные низшей планкой требований к себе. Такими их формирует массовая цивилизация, не нуждающаяся в вопрошающих и анализирующих, не стимулирующая философские раздумья и работу над собой, в общем, внимание к мировым вопросам, поощряющая посредственность:

Ну, мало ли что бывает?.. Мало
ли что бывало –
Вот облако проплывает,
Проплывает, как проплывало,

Деревья, автомобили,
Лягушки в пруду поют.
...Сегодня меня убили. Завтра
тебя убьют
[2, с. 430].

Дело, конечно, не в парижанах – это, по Г. Иванову, – общий порядок вещей:

И шумит чепуха мировая, Ударяясь
в гранит мировой
[2, с. 520].
В другом стихотворении читаем:

Как все бесцветно, все безвкусно,
Мертво внутри, смешно извне
[2, с. 437], –

от наблюдаемого поэта тошнит.

И когда духовные мертвецы раздражаются речами о свободе или ярме, истории и человечестве, добре и вере, поэт испытывает злость – его тошнит от лицемерия и словоблудия людей, не способных изменить даже самих себя, да и не стремящихся к этому. С иронией пишет Г. Иванов «обо всех мировых дураках, / Что судьбу человечества держит в руках... обо всех мертвецах-подлецах, / Что уходят в историю в светлых венцах» [2, с. 328]. Жизнь человечества вообще воспринимается поэтом как бессмысленная, а потому безобразная. У него появляются строки о

Скуке мирового безобразья
[2, с. 384].

Только

Обедать, спать, болеть поносом.
Немножко красть

[2, с. 358], –

для полноценной жизни совершенно недостаточно, хотя духовных мертвецов она устраивает. О себе самом Г. Иванов говорит:

Нельзя сказать, что я скучаю.

Нельзя сказать, что я живу

[2, с. 345], –

но он от этого страдает, мучится, тогда как духовные мертвецы даже не сознают, что собой представляют. Себя же лирический герой стихотворений Г. Иванова ощущает пребывающим в моральном аду; в одном из стихотворений он неявно уподобляет себя лермонтовско-рубелевскому Демону, грустящему в оранжевом аду, какой видится земля сброшенному с неба. Используется также для обозначения земного ада метафора «черная пустота», ибо жизнь духовных мертвецов приравнивается к небытию, где

Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может И

чернее не бывать

[2, с. 276].

А так как Г. Иванов убежден в существующей незримой связи земного и запредельного, он предается трансценденции и прозревает приближение некоего сплошного вселенского обледенения, посылающего свои знаки на Землю:

Приближается звездная вечность,

Рассыпается пылью гранит,

Бесконечность, одна бесконечность В

леденеющем мире звенит

[2, с. 276].

Вот что рано или поздно ждет людей за сотворенный на Земле ад – гибель, как бы предчувствует поэт.

Да и без того все рожденное – природой ли, мировыми ли законами (точно неизвестно кем) – «приговорено» к смерти, рано или поздно ждущей каждого.

Все навек обречено

[2, с. 279], –

пишет Г. Иванов в стихотворении «Холодно бродить по свету...».

Это предопределяет трагическую подоплеку человеческого существования.

Человеческая жизнь употребляется поэтом горячей и в конце концов сгорающей свече, превращающейся в огарок. Сравнительно с Библией, откуда взят этот образ-символ, у Г. Иванова он дан в сниженном виде. Люди видятся поэту «комарами и мотыльками», суесящимися у зажженной свечки («То, о чем искусство лжет...»), а собственная жизнь – докуриваемому и растаптываемому окурку папиросы («Волны шумели: “Скорее, скорее!”»). Как бы не жил, все равно человека «в финале» ждет смерть.

Совокупное же человечество уже многое сделало для того, чтобы приблизить «конец света», уничтожить саму жизнь на Земле и опуститься

В непроглядную ночь мировой пустоты
[2, с. 515].

Именно таким прозревает Г. Иванов будущее:

Мир торжественный и томный – Вот
и твой последний час
[2, с. 518].

А сознание этого еще более усиливает муку лирического героя, живущего в настоящем, где действует один, по словам Г. Иванова, закон – закон бессмыслицы, абсурда («И нет и да. Блестит звезда»), в чем поэт перекликается с А. Шопенгауэром, утверждавшим, что мировая жизнь не имеет какого-то предзаданного смысла, движется слепой Мировой Волей – бессмысленна. И если, как пишет Г. Иванов,

поздно иль рано
Надо и нам умереть...
[2, с. 516], –

то получается, что человек рождается для того, чтобы умереть, и даже отпущенный ему миг умудряется прожить впустую. Отсюда – переполняющее Г. Иванова ощущение царящей абракадабры, как ни в чем не бывало – продолжающейся.

А пока «конец» еще не пришел, мировую жизнь, перефразируя Пушкина, Г. Иванов характеризует так:

Скрипящая в трансцендентальном плане,
Немазанная катится телега
[2, с. 378] («Полутона рябины и малины...»)

Проступает в используемом образе что-то доразумное, но связанное с мировыми процессами. Ничего хорошего человечеству оно не обещает.

Иногда у лирического героя Г. Иванова ощущение, что все наблюдаемое – кошмарный сон, то есть сама жизнь – кошмарный сон, а что-то привлекательное и прекрасное в ней – это сон, каковой можно увидеть в жизне-сне:

Не обманывают только сны.
Сон всегда освобожденье: мы
Тайно, безнадежно влюблены В
рай за стенами своей тюрьмы
[2, с. 432].

Тут Г. Иванов продолжает символистов К. Бальмонта, З. Гиппиус, М. Волошина, у которых земной мир – тюрьма, в какую от рождения попадает человек, мечтающий вернуться на свою «изначальную родину» – в «мир иной» (у Г. Иванова это «рай»). Но «влюбленность» в «рай» у Г. Иванова – «безнадежная» – ничто не гарантирует, что мечта исполнится.

Порою окружающее видится поэту как «наважденье» – род майи, побуждающей верить в иллюзию, что в свою очередь – образное обозначение отсутствия подлинной жизни:

С бесчеловечною судьбой Какой
же спор? Какой же бой? Все это
наважденье
[2, с. 347].

Г. Иванов передает своему лирическому герою переживаемое чувство экзистенциального отчаяния. Границы трагического расширяются у него до вселенских масштабов. Поэтику акмеизма в этом случае Г. Иванов совмещает с поэтикой символизма, немало восприняв из теософии и двигаясь в направлении к экзистенциализму. Его лирический герой – конкретный человек в его реальной жизненной ситуации в мире, осуществляет трансцендентальные прорывы за пределы своего «я» в метафизическое измерение, воспринимаемое как вечное, надеясь обрести опору под ногами, как бы перебирая и апробируя различные концепции экзистенциализма, преломляющие и его собственные желания, но так и оставаясь не уверенным полностью ни в чем, а, следовательно, и не утешенным, не успокоенным. Подобный тип трансценденции называют «безгарантийным», хотя применительно к Г. Иванову он отнюдь не

атеистический, а, скорее, релятивистский при скептическом отношении и к релятивизму.

В самом общем плане это философский скептицизм, сопровождающий трансцендентальный идеализм, поскольку выводы, к которым пришел, поэт отнюдь не радуют, и он продолжает всматриваться в себя и в мир, в очередной раз утверждает: «все вперед предрешено» [2, с. 399] и в очередной же раз задается вопросом:

А если не предрешено?
[2, с. 399].

Образными адекватными вечности, космической беспредельности становятся у Г. Иванова «ледяной безвоздушный эфир», «пропасти ледяного эфира», «вечности пустая гладь». Образы ледяных звезд, сияющих из невысказанной, страшной бездны контрастно противостоят образам хрупких роз, символизирующих земную красоту, но обреченных быстро увясть и сгнить: живому вечность не суждена, настаивает поэт.

Произведения подобного типа создали так называемую «парижскую ноту» в поэзии русского зарубежья 1930-х годов. Для нее характерно рассмотрение бытия человека в прямой зависимости от феномена его смертности и выявления прямой связи единичного со всеобщим – мировым, вселенским. Восприятие трагической судьбы человека в «бессмысленно-злобном» мире для представителей «парижской ноты» предельно обострено.

Возникает закономерный вопрос: стоит ли жить, если ничего хорошего не ждет?

Отношение к смерти у Г. Иванова двойственное. С одной стороны, она пугает, с другой – поэтизируется, поскольку после смерти есть как будто шанс попасть в «мир иной». В стихотворении «Теплый ветер веет с юга...» приводится такой диалог:

«Пожалей меня, подруга,
Так ужасно умирать!»
Только ветер веет с юга, Да
и слов не разобрать.

– Тот блажен, кто умирает,
Тот блажен, кто обречен,
В миг, когда он все теряет, Все
приобретает он
[2, с. 263].

Когда смерть рассматривается в ее «спасительном» метафизическом аспекте, она у Г. Иванова – предтеча новой жизни.

Но расставаться с земной человек, как правило, не хочет, боится смерти, тем более, что не всегда уверен, что его ждет посмертное блаженство.

Иное дело – лирический герой Г. Иванова. Жизнь воспринимается им как настолько невыносимая, что ей он готов в какой-то момент предпочесть смерть. У него возникает мысль о самоубийстве. Это один из «запасных выходов», какой оставляет для себя поэт на самый крайний случай. Суицидальные настроения отчетливы в стихотворениях «По улицам рассеяно мы бродим...», «Когда-нибудь, когда устанешь ты...», «Разговор», «Жизнь пришла в порядок...», «Голубая речка...», «А люди? Ну на что мне люди?», «На барабане мне б прогреметь...» и др. Диалог с самим собой о смерти-избавительнице воспроизводит Г. Иванов в стихотворении «Когда-нибудь, когда устанешь ты...»:

– Когда-нибудь, когда устанешь ты,
Устанешь до последнего предела...
– Но я и так устал до тошноты, До
отвращения...

– Тогда другое дело.
Тогда – спокойно, не спеша проверь
Все мысли, все дела, все ощущения, И,
если перевесит отвращенье –

Завидую тебе: перед тобою дверь
Распахнута в восторг развоплощенья
[2, с. 435].

Возможность самоубийства оправдывается, так как не устраивающая поэта жизнь для него хуже смерти.

Лирический герой Г. Иванова как бы примеряет на себя мысленно разные способы самоубийства: утопиться, застрелиться, повеситься, принять яд и т. д.:

– Так нетрудно, так несложно
Нашу вылечить тоску – Так
нетрудно в черный кофе
Всыпать дозу мышьяку
[2, с. 497].

или:

Голубая речка
Предлагает мне
Теплое местечко На
холодном дне
[2, с. 398].

В стихотворении «Синеватое облако...» лирический герой показан уже поднесшим пистолет к виску:

Синеватое облако (Холодок
у виска)
Синеватое облако
И еще облака...

И старинная яблоня (Может
быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Зацветает опять.

Все какое-то русское
(Улыбнись и нажми!) Это
облако узкое,
Словно лодка с детьми.

И особенно синяя (С
первым боем часов...)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов
[2, с. 288].

В стихотворении два плана – внешний и внутренний, обозначенный вставками и отражающий то, что происходит в душе человека. Как можно понять, герой стоит у окна и видит через него плывущее, как лодка, облако, прекрасную цветущую яблоню, даль лесов; либо же, скорее, он воскрешает в своем воображении такую картину, потому что на всем лежит отпечаток русскости. Красота природы оттеняет драматизм переживаний решившегося на самоубийство. В его душе все перегорело, осело пеплом, просвета впереди он не видит и как бы прощается с жизнью прежде, чем застрелиться. Финал автор оставляет открытым – остановило что-то человека или он осуществил свое намерение, остается неизвестным. Но и само суицидальное проявление говорит о многом.

Согласно постулатам православия, самоубийство – грех, так как считается, что человек при этом убивает не только свое тело, но и душу, а потому не может рассчитывать на воскрешение в «мире ином». В какой-то степени это удерживает поэта и его лирического героя от суицида; однако время от времени он чувствует себя готовым принять и это, настолько невыносима для него окружающая жизнь:

В самом деле – что я трушу:
Хуже страха смерти нет. Ну
и потерю душу,
Ну и не увижу свет
[2, с. 344], –

ибо хуже того, что есть, кажется, быть ничего не может («Ветер тише, дождик глуше...»).

Но основная причина, удержавшая от самоубийства, признается Г. Иванов, иная – смерти он все-таки боится:

Порою мечтаю прославиться
И тут же над этим смеюсь,
Не прочь и «подальше» отправиться,
А все же боюсь. Сознаюсь...
[2, с. 424] («Чем дольше живу я, тем менее...»), –

как можно понять, в нем, несмотря ни на что, полностью не угас инстинкт жизни, во-первых, есть – сравнительно и с христианской религией, и с теософией – сомнения в характере загробного существования: а вдруг и там такая же тоска, как на земле:

Мертвый проснется в могиле,
Черная давит доска. Что это?
Что это? – Или И воскресенье
тоска?
[2, с. 325].

Абсолютно убедительных доказательств загробного блага нет, как и стопроцентного убеждающих доказательств самого воскрешения – это, допускает Г. Иванов, – «сны золотые» о желанном и богоискателей, и бомбометателей, и творцов искусства:

...И не восстанут из гробов И
не вернут былой свободы –

Ни светлым именем богов,
Ни темным именем природы
[2, с. 304], –

но это лишь одно из предположений, которое, однако, посещает поэта.

Хотя Г. Иванову «страшно жить», – еще «страшнее умереть» [2, с. 529].

Если же даже допустить существование потустороннего, метафизического мира, который даст бессмертие, полностью компенсировать то, чего лишится человек с утратой земной жизни, невозможно. Вот иное предположение Г. Иванова:

В совершенной пустоте, В
абсолютной черноте – Так
же веет ветер свежий,
Так же дышат розы те же...

Те же, да не те
[2, с. 517] («Разрозненные строфы»)

Они – метафизические, духовные, а не материальные (к чему привык человек): их нельзя взять в руки, составить букет, поставить в вазу с водой, например, или поваляться в зеленой траве, ощущая и ее мягкость, и аромат... Также неприемлем для Г. Иванова

Отвратительный вечный покой
[2, с. 429], –

понимаемый как измерение, где ничего не происходит и человек полностью бездеятелен («Мы дышим предчувствием снега и первых морозов»); такой «покой» напоминает поэту кладбищенскую мертвенность, отсутствие полноценного существования. Все-таки жизнь (феномен жизни как явление бытия) – это

Сиянье, волнение, брожение, движение
[2, с. 392].

Поэтому, допуская все-таки существование запредельного мира, Г. Иванов тем не менее констатирует:

Если новая жизнь, о душа, Открывается
в черной могиле,

Как должна быть она хороша, Чтобы
мы о земной позабыли
[2, с. 501].

При всех колебаниях, сомнениях, допущениях разрыв мыслителя или поэта с мировой жизнью Г. Иванов считает ошибкой, лишаящей масштабов мировидения и способности заглянуть за тысячелетия назад или вперед, проследить судьбу человечества в веках. Когда

Меж тем и этим – рвется связь,

то

обреченный, погибая,
Летит, орбиту огибая, В
метафизическую грязь
[2, с. 521].

Г. Иванов, хотя и допускал, что его желания – лишь «золотые сны», от «мира иного» как идеала, не отказывался (другое дело, не был уверен, что его заслуживает). В целом ряде его стихотворений есть образ неба как своеобразной двери в Царство Духа:

Для чего, как на двери небесного рая,
Нам на это прекрасное небо смотреть
[2, с. 281], –

с ним связывается мечта об обретении своего «счастливого дома», тогда как на земле (по Г. Иванову) счастья нет. Солнце на небе для Г. Иванова – «словно свечка // Святого четверга» [2, с. 474]: обещанием воскрешения рассеивает мглу в душе.

И поэт прибегает к трансцендированию наподобие богореализации, дабы, отрешившись от всего чуждого, испытать слияние с Высшим миром, со светом и пережить состояние блаженства:

В глубине, на самом дне сознанья,
Как на дне колодца – самом дне –
Отблеск нестерпимого сиянья Пролетает
иногда во мне.

Боже! И глаза я закрываю
От невыносимого огня.
Падаю в него... и
понимаю,
Что глядят соседи по трамваю Странными
глазами на меня
[2, с. 289].

Конечно, окружающих поражает поведение «падающего в себя» и пребывающего то ли во сне, то ли в каком-то блаженном забытии, то ли в «отключке» человека, – уж очень неподходящее место им избрано – трамвай. Обычно для медитации типа йоги избирают по возможности уединенные места. Но есть еще один способ достижения, так сказать, райских переживаний, помимо богореализации, – употребление наркотиков. В свое время под названием «искусственные раи» их действие описал Ш. Бодлер, также прибегавший к наркотическим средствам. И Г. Иванов в 1930-е годы «спасался» (если так можно выразиться) от отвращавшего его в наркотиках. И. Одоевцева денег на наркотики, естественно, не давала, не желая, чтобы Г. Иванов себя губил, и он в эмигрантской среде всем был должен. Одалживали же ему потому, что после «Роз» Г. Иванов был признан первым поэтом эмиграции.

Как представляется, просветленно-райские описания, которые появляются у Г. Иванова в 1930-е годы, связаны с воздействием наркотических средств, хотя, конечно, и настроенность автора немаловажна. Поэт сам признается, выходя из транса:

Это все. Ничего не случилось.
Жизнь, как прежде, идет не спеша.
И напрасно в сиянье просилась В
эти четверть минуты душа
[2, с. 423].

Как бы там ни было, Г. Иванов запечатлел акты перехода творчества в трансценденцию. Можно сказать, это творчество-трансценденция:

Закроешь глаза на мгновенье
И вместе с прохладой вдохнешь Какое-то
дальнее пенье,
Какую-то смутную дрожь.

И нет ни России, ни мира, И
нет ни любви, ни обид –

По синему царству эфира Свободное
сердце летит
[2, с. 275].

В описываемом состоянии лирический герой показан полностью отрешенным от всего, в том числе самого себя (упоминается только сердце, летящее в неземную (эфирную) даль). Он слышит лишь некое дальнее (как бы ангельское пенье) и испытывает просветленную радость, как и дрожь переполняющего его волнения. Пусть такое состояние и краткое, оно наполняет поэта блаженством, давая силы вынести и то, что его мучит в повседневности. Поэтому сама поэзия была для Г. Иванова (наряду с Россией) величайшей ценностью. Хотя он мог высказаться о ней и так:

О нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания. Я
попросту хлороформирую
Поэзией свое сознание.

И наблюдаю с безучастием,
Как растворяются сомнения,
Как боль сливается со счастьем В
сиянии одеревенения
[2, с. 420].

Использование хлороформа в медицине позволяет не чувствовать боли, и психоаналитики отмечают терапевтическую для самого автора роль творчества как формы сублимации переполняющих человека тревог, на смену которым приходит временное спокойствие, а у Г. Иванова впридачу с наркотиками – радостно-счастливое состояние, но – в некоем «одеревенении», как бы выпадая из мира, причиняющего страдание.

И вообще, согласно Г. Иванову, максимализм идеальных устремлений часто и порожден болью, причиняемой реальностью, от которой в своих грезах как бы заслоняется поэт:

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где улыбаясь произносят – «Роза»
И с содроганьем думают: «Анчар».

Где, говоря о рае, дышат адом Мучительных
ночей и страшных дней,

Пропитанных насквозь блаженным ядом,
Проросших в мироздание корней
[2, с. 409].

Допускает Г. Иванов, что рай «только снится нам», но он есть в стихах как прообраз желанного, идеального, существующий в человеческих душах; следовательно, он нужен как высшая точка отсчета, с которой можно сверять и оценивать действительное.

Но в этом случае Г. Иванов касается самой психологии творчества, а не его значения для писателя и связанных с ним ожиданий, как и роли в судьбе человечества. Поэзия, по Г. Иванову, – это чудный дар человеку, сделанный судьбой, восхитительнейшее из занятий, основанное на таланте и воображении, переносящее в различные миры и измерения, позволяющее испробовать и пережить и то, что в действительности невозможно, но желанно. Вот почему можно сказать, что поэтическое творчество – это и исполнение желаний индивида, свободный полет его души. Да, в сочинении стихов Г. Иванов свободен от всего, что в жизни давит человека; значит, поэзия – это и свобода.

Болезненно воспринимая смертный удел человека, в поэзии Г. Иванов видит и символическую форму бессмертия:

...С детства знакомое чувство, –
Чем бы бессмертье купить,
Как бы салазки искусства
К летней грозе прицепить?
[2, с. 380].

Совершенное явление искусства остается в культуре, а с ним – и личность создателя, что подтверждает сам Г. Иванов многочисленными обращениями в стихах к дорогим для него именам и произведениям: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Блока, Анненского, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и др. Да и непосредственно поэт формулирует:

Стихи и звезды остаются, А
остальное – все равно!..
[2, с. 449].

Тут вскрывается значение искусства не только для его творца, но и для человечества, для всего мира, так как стихи уравниваются со звездами: несут свет (как, например, «звезда по имени Солнце») – оказывают просветляющее, одухотворяющее, облагораживающее воздействие на человека:

Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один – неугасимый!– свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем
[2, с. 417], –

без чего люди полностью погрязли бы в материальном прагматизме, превращаясь в одномерных духовных мертвецов, столь отталкивающих Г. Иванова.

К тому же поэзия (по своему происхождению) неотделима от музыки, а музыка – это чистая гармония, прообраз мировой гармонии, что для человечества первостепенно важно как идеал. Поэзия же – это как бы заговорившая музыка, и ее сила видится Г. Иванову еще более действенной.

Также поэт сравнивается с розой, украшающей мир, цветущей, но рано или поздно вянущей, превращаясь в «вечерний свет» («Роза»):

И ты, прохожий,
Звался поэтом,
А будешь тоже Вечерним
светом
[2, с. 495].

И в вечерние «сумерки» человечества свет искусства не дает людям выродиться окончательно, хотя от духовных мертвецов Г. Иванов ждет всего, в том числе и самоистребления в Третьей мировой войне:

Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы –
Припадок атомической истерики Все
распылит в сияньи синевы.

Потом над морем ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И Тот, кто мог помочь и не помог, В
предвечном одиночестве останется
[2, с. 427].

Стихотворение написано уже после изобретения ядерного оружия, в 1950-е годы. Неужели катастрофы Второй мировой войны для человечества оказалось недостаточно, и оно дойдет до полного уничтожения жизни на Земле? Верить в это не хочется, но, к сожалению, возможно, и на подготовку новой войны тратятся и сегодня колоссальные средства – священная

ценность человеческой жизни и жизни вообще так и не стала определять сознание расколотого человечества, а это главный критерий гуманности либо негуманности совершаемого.

Есть у Г. Иванова в его антиутопическом прогнозе не только обвинение людям, но и упрек Богу за то, что не остановил взаимное истребление. Однако можно понять высказывание и как наказание Бога духовным мертвецам за попрание Высших Ценностей: сами мертвы, и Бога и те Абсолютные Истины, которые стоят за этой культуремой, похоронили.

Так что поэзия, по Г. Иванову, это и предупреждение «слепцам», в какую «яму» они могут свалиться. Правда, достучаться до человеческих сердец непросто, подчас это напоминает раздаривание жемчуга свиньям («Как обидно – чудным даром...»). Но не писать поэт просто не может – в этом смысл его жизни, и высокий эстетический уровень воплощения как лелеемых идеалов, так и правды жизни, в том числе – в воссоздании собственных переживаний, – необходимое условие обретения стихами (а вместе с ними и автором) бессмертия:

В награду за мои грехи,
Позор и торжество,
Вдруг появляются стихи –
Вот так... Из ничего...

Все кое-как и как-нибудь,
Волшебно на авось: Как
розы падают на грудь...
– И ты мне розу брось!

Нет, лучше брось за облака – Там
рифма заблестит, Коснется
тленного цветка И в вечный
превратит
[2, с. 137].

В «Мелодии» Г. Иванов напоминает:

Подумай: сколько тысяч лет Благоухают
розы!
[2, с. 481], –

запечатленные в стихах поэтов минувших столетий. Подлинное искусство переживает века, несет в себе идеал прекрасного, способный одухотворить и сблизить людей.

Немало «превращений» тленного в бессмертное в стихотворениях самого Г. Иванова. Его поэтическая зрелость, уровень таланта с ходом времени настолько возросли, что стихи пишутся как бы сами собой, сохраняя полную естественность:

Так часто бывает: куда-то спешу
И в трепете света и тени
Сначала раскаюсь, потом согрешу
И строчка за строчкой навек запишу
Благоуханье сирени [2, с. 407] («Я твердо
решился и тут же забыл...»).

Обратим внимание: «навек запишу» – преходящее поэзия сохраняет, если это имеет общечеловеческую ценность, навсегда. В данном случае поэтизируется красота природы, олицетворяющая универсальную красоту.

Вместе с тем Г. Иванов не приукрашивает самого себя, не обходит и своих недостатков и пороков, часто ругает себя за то, что живет не так, так нужно.

Неудивительно, что и отношение к поэту в эмигрантской среде было неоднозначным. Зачастую его воспринимали как русского О. Уайльда. В. Яновский в мемуарной книге «Поля Елисейские» пишет:

«Трудно сообразить, в чем заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака... <...> Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеклом, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, циничная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас» [9, с. 153]. Вместе с тем, по словам В. Яновского, это человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознается <...> существо его, насквозь эгоистическое, было совершенно безразлично к любому визави. <...> Но стихи он любил и для них, пожалуй, жертвовал многим. <...> молодежь его боялась, слушалась и любила. Он был умницей» [9, с. 154]. Трудно сказать, насколько В. Яновский объективен. Во всяком случае большой ум и имморализм (идуший от Ф. Ницше и О. Уайльда) был Г. Иванову присущ: он ни на кого не оглядывался, говорил и делал то, что хочет; большой же талант сделал его авторитетным у молодых эмигрантских поэтов.

И. Одоевцева отзывается о Г. Иванове, естественно, много мягче: «В нем уживались самые противоположные, взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего “убийственного остроумия”...» [7, с. 95].

Все же присущий Г. Иванову имморализм сыграл свою роль в поведении поэта в годы Второй мировой войны.

Надо сказать, что основные денежные средства, на которые жили, Г. Иванов и И. Одоевцева получали от дяди И. Одоевцевой, у которого в Литве был доходный дом и от которого к ним после его смерти перешло и наследство. Однако в 1940 г. Литва вошла в состав СССР, и получать оттуда деньги И. Одоевцева и Г. Иванов перестали, оказавшись на мели. Во время же начавшейся войны их дом в Биарицце сгорел, а парижская квартира оказалась разграбленной. И когда немцы вошли в Париж, эмиграция раскололась: одни заняли позицию сопротивления, другие стали в той или иной форме сотрудничать с немцами. В числе последних были Д. Мережковский и З. Гиппиус, почему-то рассчитывавших, что, когда Гитлер сокрушит СССР, в России начнется новая жизнь. Г. Иванов же продолжал посещать Мережковских, в основном потому, что там можно было «подкормиться», хорошо поесть, тогда как они с И. Одоевцевой совершенно обездenezжили. Через Мережковских Г. Иванов познакомился и с некоторыми немцами, занимавшими приличные посты, и, обворотив их своим умом и хорошим знанием немецкой литературы, стал занимать у них деньги, так как из числа эмигрантов ему уже никто не одалживал, ибо долги Г. Иванов не отдавал. Так же, в общем, он действовал и по отношению к немцам. Это поведение поэта было признано безнравственным, от него многие отвернулись, что особенно явственно Г. Иванов почувствовал после окончания войны. Узнавший в 1930-е годы славу и привыкший быть любимцем эмигрантов, Г. Иванов оказался в изоляции, будучи подвергнут обструкции; на его голову пал позор. К тому же то, что еще оставалось от имущества, за время войны было прожито. В 1940-е Г. Иванов и И. Одоевцева буквально нищенствовали, иногда по несколько дней ничего не ели. С огромным трудом удалось устроить их в дом престарелых в Йере, на юге Франции, где, конечно, условия были очень скромные, но хотя бы кормили и поили.

Многое Г. Иванову пришлось переосмыслить, что отражают последние его книги стихов – «Портрет без сходства» (1950) и «Дневник» (1958).

Случившееся с ним в годы войны – подтекст, проясняющий некоторые признания Г. Иванова. Он изображает своего лирического героя

В печальном положеньи принца
Без королевского дворца.

Без гонорара. Без короны. Со
всякой сволочью на «ты»

[2, с. 448] («Туман. Передо мной дорога»)

и признается:

Пускай царапают, смеются, Я
к этому привык давно
[2, с. 449].

Дает поэт и нелицеприятные для него самохарактеристики:

Что ж, поэтом долго ли родиться...
Вот сумей поэтом умереть!
Собственным позором насладиться, В
собственной бессмыслице сгореть!
[2, с. 456].

Выручает его, в который раз, само поэтическое творчество. В нем явственна ориентация на пушкинскую традицию; и произведения, пусть и грустные, даже тоскливые, все же более просветленные; возможно, и потому, что, приближаясь к смерти, Г. Иванов больше начинает ценить то, что привязывает человека к жизни, и все больше находит он в ней заслуживающего поэтизации. Прежде всего это – красота: в природе, человеческих чувствах; но также и сама жизнь (сам феномен жизни) в ряде стихотворений предстает как явление прекрасное, пусть в ней многое и не устраивает:

Отвлеченной сложностью персидского ковра,
Суетливой роскошью павлиньего хвоста В
небе расцветают и темнеют вечера,
О, совсем бессмысленно и все же неспроста.

Голубая яблоня над кружевом моста Под
прозрачно призрачной верленовской
луной –
Миллионнолетняя земная красота, Вечная
бессмыслица – она опять со мной.

В общем, это правильно, и я еще дышу.
Подвернулась музыка: ее я запишу.
Синей паутиною (хвоста или моста), Линией
павлиньей. И все же неспроста
[2, с. 450].

Поэтизируемая земная красота не имеет прагматического значения, не несет в себе какого-то поучительного посыла – она просто есть и

бескорыстно одаривает всех, радуя глаз и душу. Так что одаренный этой красотой, человек уже не нищ, напротив, живет среди даров природы, пусть этого не ценит. Поэту же небо, яблоня, музыка словно посылают свои приветы, чтобы он о них написал и тем привлек бы внимание людей к красоте мира, побуждая и их самих соответствовать тому, что прекрасно. В этом тоже важная функция искусства. А кроме того, земная красота без слов пророчит о красоте запредельной, метафизической, по крайней мере – самому Г. Иванову. Принимая земной мир с его красотой, он не отказывается и от того, что по-прежнему «сердце бережет», а это –

Вечный свет, вода живая
[2, с. 351], –

символизирующие победу над смертью и вечную жизнь.

И, сколь ни прекрасной перед смертью кажется жизнь, предпочтение поэт отдает обретению «мира иного»:

Вечер. Может быть, последний Пустозвонный
вечер мой.
Я давно топчусь в передней, – Мне
давно пора домой
[2, с. 583].

«Передняя» – все-таки Земля, «счастливый дом» – райская обитель, о которой всегда грезил поэт.

И, конечно, Г. Иванов не может не думать о том, что от него, от его творчества останется на Земле:

Я не стал ни лучше и ни хуже.
Под ногами тот же прах земной, Только
расстоянье стало уже
Между вечной музыкой и мной.

Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова
И душа провалится в сиянье Катастрофы
или торжества
[2, с. 456].

Стихи, надеялся поэт, будут его оправданьем на суде вечности за то, что он погубил («Остановиться на мгновенье»). Верил Г. Иванов и в выраженное в стихах «мертвого друга» (О. Мандельштама) пророчество:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем
[5, с. 101], –

в возвращение на родину стихами («В ветвях олеандровых трель соловья»), а значит – в воскрешение в русской культуре и, таким образом, обретение символического модуса бессмертия. Это давало силы держаться.

Заглядывая вперед, Г. Иванов видел свое место в русской литературе рядом с Н. Гумилевым (последнюю книгу которого «Огненный столп» собрал и издал в 1921 г. уже после смерти расстрелянного друга, сильно на него повлиявшего). Вот что предсказывает Г. Иванов:

Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,
Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идем,
Как попарно когда-то ходили поэты
[2, с. 586] («Ликованье вечной, блаженной весны...»)

Предсказанье сбылось: и Н. Гумилев спустя десятилетия пришел к читателю, и Г. Иванов вернулся в русскую культуру – стихами, прозой, мемуарами, и уже от нее неотделим.

Библиографический список

1. Адамович, Г. Стихотворения / Г. Адамович. – Томск: Водолей, 1995.
2. Иванов, Г. Собр. соч.: в 3 т. – М.: Согласие, 1994. – Т. 1. Стихотворения.
3. Иванов, Г. Собр. соч.: в 3 т. – М.: Согласие, 1994. – Т. 2. Проза.
4. Иванов, Г. Собр. соч.: в 3 т. – М.: Согласие, 1994. – Т. 3. Мемуары. Литературная критика.
5. Мандельштам, О. Стихотворения: [Стихотворения. Проза. Эссе] / О. Мандельштам. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: АСТ Москва, 2008.
6. Одоевцева, И. На берегах Невы / И. Одоевцева // Звезда. – 1988. – № 5. 7. Одоевцева, И. На берегах Сены / И. Одоевцева // Звезда. – 1988. – № 12.
8. Шопенгауэр, А. Собр. соч.: в 5 т. / А. Шопенгауэр. – М.: Моск. клуб, 1992. Т. 1: Мир как воля и представление.
9. Яновский, В. Поля Елисейские: книга памяти / В. Яновский / под. ред. Л.М. Сурица.

– М.–Берлин: Директ-Медиа, 2016.